

# «ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ»

НЕДАВНО побывавшие в Советском Союзе жена и дочь Ф. Ф. Раскольниковы, активного участника Октябрьской революции, советского дипломата и писателя, привезли с собой часть его литературного архива и передали его в Союз советских писателей.

Сохранять этот архив в течение двадцати пяти лет жене Федора Федоровича было нелегко. После смерти мужа Муза Васильевна осталась во Франции. Началось на-

ступление гитлеровцев. С огромным потоком беженцев она пробиралась из Парижа на юг Франции с маленькой дочерью на одной руке, а в другой неся портфель с архивом мужа, умершего в больнице в сентябре 1939 года.

Мы публикуем сокращенные воспоминания Ф. Ф. Раскольниковы о Максиме Горьком. В них приводятся письма писателя, подлинники которых не сохранились ни в архиве Горького, ни в архиве писателя.

Мне посчастливилось познакомиться с Алексеем Максимовичем в Петрограде весной 1915 года.

На Волковом кладбище хоронили известного либерального историка русского революционного движения В. Я. Яковлева-Богучарского. Стояла грязная оттепель.

Максим Горький ждал погребения на кладбище. Высокий и сутулый, в черной широкополой шляпе, похожей на мексиканское сомбреро, он стоял, прислонясь к решетке чьей-то могилы. Его окружала молодежь.

Потом я много раз бывал у Горького на пятом этаже очень высокого дома, на углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов.

Горький был замечательно интересный рассказчик: когда он говорил, его можно было заслушаться. У него было подвижное лицо, глуховатый голос и необыкновенное богатство интонаций. Он рассказывал умно, умел пользоваться неистощимым юмором, двумя-тремя чертами лепил пластический образ и, как бы невзначай, давал убийственно меткую характеристику. Житейский опыт его был изумительно богат, а феноменальная память, как фотографическая пластинка, запечатлевала все, что он когда-либо видел или читал.

Он сидел за чайным столом всегда около стены, дополняя повествование мимикой и скупыми, угловатыми жестами. С напряженным вниманием слушали его гости.

Осенью 1924 года я приехал в знойный Неаполь. Между вокзалом и конным памятником Гарibaldi я нанял итальянского извозчика-веттурино.

Смуглый, как цыган, веттурино медленно вез меня в гору, звонко стреляя бичом и с гордостью рассказывал, что «Массимо Горки» жил до войны на Капри, а теперь переселился в Сорренто.

Утром на маленьком пароходе по ласково-спокойному, голубому заливу я поехал в Сорренто.

Перед вечером я подошел к вилле, где жил Горький. В саду меня встретил его сын Максим Пешков и спросил мою фамилию.

— Вы тот самый Раскольников? — с удивлением спросил он меня.

— Да, тот самый, — подтвердил я.

— Сегодня итальянские газеты опять напечатали, что отец при смерти, — сказал мне на лестнице Максим, — но это неправда.

И он отворил белую дверь.

Горький сидел на краю дивана перед широким обеденным столом, на котором лежала прерванная на полфразе рукопись. Последнее законченное слово было: «Тихон». Большое окно светлой, просторной комнаты выходило на Неаполитанский залив. Горький поднялся, с приветливой улыбкой пожал мне руку и предложил сесть на стул против себя. Положив на стол гладкие, белые руки, он ласково посмотрел мне в глаза и сказал:

— Вы прямо из Москвы? Ну, рассказывайте, что там происходит.

Он с жадностью расспрашивал меня, проявляя огромный интерес ко всему, что делается в Советском Союзе.

Разговор перешел на советскую литературу.

— Я только что прочел «С мешком за смертью» Сергея Григорьева. Знаете, хорошая вещь! Вообще, там у вас выходит много замечательных вещей. А вот эмигрантская литература хиреет. Мережковский печатает в «Современных записках» роман об египетском фараоне Тутанхамоне. Знаете ли, я не мог дочитать... Поразительно плохо! Вы представьте себе: египетские фараоны говорят у него современным языком.

И его добродушное лицо, на котором выделялся нос с открытыми ноздрями, озарилось широкой иронической улыбкой.

В личных симпатиях к отдельным людям Горький был очень субъек-

тивен. Он мог временно восхищаться каким-нибудь писателем, с увлечением хвалить его вещи, а потом без видимой причины внезапно охладеть к нему. Однако он обладал редким умением отрешиться от симпатий и антипатий при общей оценке человека.

А с каким добросовестным вниманием он относился к молодым, начинающим писателям! Меня всегда изумляло, как успевал он прочитывать невероятные груды рукописей, попутно синим карандашом выправлять стиль и даже орфографические ошибки, подчеркивать отдельные слова и выражения, испещрять поля рукописи умными и содержательными пометками. Возвращая прочитанную рукопись автору, он обычно сопровождал ее письмом с подробным и точным анализом и дружескими советами.

Но не менее внимательно относился он к литераторам старшего поколения. Во время пребывания Горького в Москве, в ноябре 1929 года, я передал ему сделанную мною инсценировку романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Максим Горький с изумительной быстротой и необыкновенным вниманием прочел пьесу, вернул ее со следующим письмом:

«Дорогой Федор Федорович,

Вообразив себя зрителем в театре, я чувствую, что «чтец» мешает мне своею пессимистической воркотней анархиста. Если его невозможно устранить, то, мне кажется, следует весьма сильно сократить его «подсказывания». Особенно нужно сделать это на стр. 35—41 и 98—102. Нехорошо, — «чтеатрально» — что он, чтец, кончает 1-ю картину 2-го действия, этим он расхолаживает зрителя. Будет лучше — живее, если Вы перенесете в конец сцену с истерикой. На 105-й слишком примитивна беседа Нехлюдова с «чтецом». На 106-й — пусть бы Нехлюдов читал сам свой дневник. Вся 3-я картина 2-го акта кажется мне совершенно лишней, она вполне способна сотворить в театре скуку; было бы интересней и оригинальней воспроизвести игрою на сцене обряд евхаристии. Второй акт — обрван, не оставляет законченного впечатления. В начале 3-го чтец снова мешает, то же и в конце 1-й картины и во 2-й.

Вообще, чтеца слишком много, он затягивает «действие» и без него — не богатое, он грозит сделать всю пьесу скучной. Победоносцева следовало бы на минуту показать одного, после приема Нехлюдова, — ходит по кабинету и тихонько поет свое любимое «Господи, воззвах к тебе, услыши мя», поет тихонько и на 6-й глас. Слова Нехлюдова на стр. 156-7 могут вызвать демонстративные аплодисменты обывателей. Со стр. 213-й я бы убрал речь старика анархиста, анархизм растет у нас достаточно сильно и без пропаганды со сцены театра.

В общем пьеса показалась мне недостаточно «действенной», но, разумеется, — театр должен устранить этот недостаток, и, наверное, устранил.

Всего доброго

А. ПЕШКОВ.

25.XI—29».

Максим Горький оказался прав. Московский Художественный театр устранил недостаток действенности.

Владимир Иванович Немирович-Данченко и Илья Яковлевич Судakov блестящей режиссерской работой и основательной переработкой текста пьесы устранили недостатки.

К сожалению, Горькому не пришлось побывать на репетициях «Воскресения»: он скоро уехал в Сорренто. Вместе с другими товарищами я провожал его на вокзал.

В январе 1930 года он прислал стихи одной молодой поэтессы с таким рекомендательным письмом, которое прекрасно характеризует его замечательную скромность:

«Дорогой Федор Федорович.

Я не «знаток» современной поэзии и плохо разбираюсь в ней, но прилагаемые стихи кажутся мне оригинальными. Может быть, вы напечатаете некоторые из них?

Автора я не знаю, не видел: слышал, что это еще очень молодая девушка».

Сердечный привет.

А. ПЕШКОВ.

29.I—30 г.».

В марте 1930 года я был назначен полпредом в Эстонию. В том же году я послал Горькому из Таллина отклик напечатанной в «Красной ниве» моей пьесы «Робеспьер».

Горький долго не отвечал, и я уже отчаялся получить от него отклик, как вдруг однажды, в феврале 1931 года, он прислал письмо из Сорренто с критикой моей пьесы:

«Дорогой Федор Федорович —

Виноват перед Вами, до сего дня не собрался написать о пьесе. Прочитал я ее давно; она показалась мне тяжелой, несколько перенасыщенной словами, а характеры в ней — недостаточно четко оформлены.

Исторически — они, кажется, верны, то есть говорят то самое, что годворили, слова их Вы слышите и годпроизводите более или менее точно, но речевые, характерные особенности, «акцент» недостаточно подчеркнут, как мне кажется. Это делает людей — до известной степени — однообразными. Недостаток этот, — если он действительно существует, а не плод субъективного моего воображения, — недостаток этот не могут сгладить артисты театра. Посему я бы советовал Вам посмотреть на пьесу, как на чужую и «проработать» ее: кое-где — сократить, а главное — подчеркнуть различие характеров отношением героев к «быту», к вешним, мелким фактам их бытия. Человек ловится на мелочах, в крупном — можно «притвориться», мелочь — всегда выдает истинную «суть души», ее рисунок, ее тяготения.

Должен сказать, что к моим суждениям о драматическом искусстве следует относиться строго критически, ибо, считая эту форму литературы своей трудной, я плохо разбираюсь в ней и — как Вы знаете — сам могу писать пьесы только очень неудачные. Кстати, покаюсь: именно этим делом и занят — между прочим, — а прочее увлекает меня гораздо больше, чем пьеса. «Прочее» — совершенно изумительно. Вот, например, сегодня получил письмо из одной Сибирской Коммуны, — солидную рукопись на тему «Как мы сочиняли письмо», — мы, это — коммунары. Замечательная штука, и, конечно, требует ответа. Все требуют ответов! Ну, вот, и пишу ответы.

Расчудесная работешка, черт возьми.

Эмигранты ругают меня, это — верно. Но — что же им делать? Эта ругань меня никак не трогает. Порукают и граждане Союза, подписывая писания свои псевдонимами: «Курский рабочий», «Рабфаковец» и т. д. Рабочие и рабфаковцы они такие же, как я — маркиз. И злость их не так удивляет меня, как удивляет малограмотность.

Но — все это «преходящее» и ненадолго.

Крепко жму руку. Удивительное и прекрасное время, а?

Будьте здоровы: А. ПЕШКОВ.

13.II—31».